

АНДЕРСЕН



Соловей

Помаров.











Г.-Хр. АНДЕРСЕН.

N 57  
A-65

# СОЛОВЕЙ.—

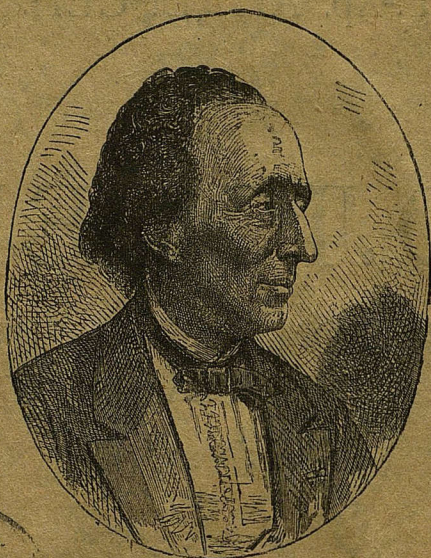
СТАРЫЙ ДОМ. — МАРГАРИТКА. —  
ЕЛОЧКА. — ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ.

СКАЗКИ.

Издание Т-ва И. Д. СЫТИНА.

СК.  
A65.c.





Ганс-Христиан Андерсен.



**КОНТРОЛЬНЫЙ**

Исполнено по заказу Госиздата Т-вом И. Д. СЫТИНА.

18347

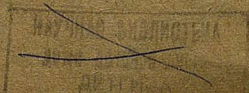


Мн + 90

Главлит. № 5509.

Напеч. 20.000 экз.

«Мосполиграф». 1-я Образцовая типография. Пятницкая, 71.







## Соловей.

Ты, верно, знаешь, что в Китае император — китаец и что все окружающие его — тоже китайцы. Много лет прошло с тех пор, как случилось то, о чем я хочу рассказать тебе, но потому-то и стоит послушать эту историю, пока она еще не забылась.

Дворец императора был великолепнейший в целом свете, — весь сделанный из тонкого фарфора, очень дорогого, но до того нежного, что трогать его надо было очень осторожно. В саду цвели удивительнейшие цветы, и к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики, которые постоянно звенели для того, чтобы никто не мог пройти мимо этих цветов, не заметив их. Да, все в саду императора было устроено с таким расчетом!

И тянулся он так далеко, что сам садовник не знал, где конец. Сад этот выходил в великолепнейший лес с высокими деревьями и глубокими озерами. Лес тянулся до самого моря — синего и глубокого; большие корабли проходили под ветвями деревьев, а на этих ветвях жил соловей, который пел так хорошо, что даже бедный рыбак, у которого так много дела, оставлял свою работу и слу-

694028 Кх пер

1\*



шал соловья, когда ночью выезжал на рыбную ловлю. „Ах, как это хорошо!“ говорил он и скоро должен был приниматься за работу и забывал птицу. А в следующую ночь, выезжая на ловлю и услышав соловья, он опять говорил: „Ах, это хорошо!“

Из всех стран света приезжали путешественники в город императора и восхищались городом, дворцом и садом. Но, когда приходилось им услышать песню соловья, все они говорили: „Это лучше всего“.

И, возвратясь домой, путешественники рассказывали обо всем, что видели в Китае; ученые писали целые книги о городе, дворце и саде. Но и соловья не забывали они: о нем говорили все, как о самой большой редкости; а те, которые умели сочинять стихи, писали отличнейшие стихотворения о соловье, живущем в лесу у глубокого моря.

Книги ходили по свету и некоторые из них попадали в руки китайского императора. Он сидел на своем золотом троне и читал, читал; каждую минуту кивал он головой, потому что ему были очень приятны описания города, дворца и сада. „Но соловей лучше всего этого!“ говорилось в книгах.

— Что же это значит? — сказал император. — Ведь я совсем не знаю этого соловья! Неужели такая птица живет в моем государстве и даже в моем саду? Как же я до сих пор не слышал об этом и только узнал из чужих книг?

И он позвал к себе своего камергера. Этот человек был так горд, что, когда кто-нибудь ниже его званием осмеливался заговорить с ним и спросить о чем бы то ни было, он отвечал только: „Гм“, а это ровно ничего не значило.

— Говорят, — сказал император, — что у нас есть удивительнейшая птица, которая называется соловьем. В книгах пишут, что она лучше всего, что только находится в моем великом государстве... Отчего я до сих пор не слышал о ней?



— Я тоже в первый раз слышу о ней, — отвечал камергер: — она никогда не была представлена ко двору.

— Я желаю, чтоб она сегодня вечером была здесь и пела в моем присутствии, — сказал император. — Это удивительно! Весь свет знает о такой редкости, находящейся у меня, а я ровно ничего не знаю!

— В первый раз слышу! — повторил камергер. — Сейчас пойду и найду ее.

Но где найти? Камергер обегал все лестницы, комнаты и галереи, но никто из живших во дворце не слышал



о соловье. И камергер вернулся к императору и сказал, что, без сомнения, рассказ о птице — выдумка сочинителей книг.

— Ваше императорское величество, напрасно изволите верить всему, что пишется в книгах! Это — все выдумки, то, что называется чернокнижием.

— Но книга, в которой я прочел об этом, — сказал император, — прислана ко мне всемогущественным императором японским: значит, написанное в ней не может быть неправда. Я хочу слышать соловья! Он должен быть



здесь сегодня вечером. А если не будет, я велю после ужина колесовать весь мой двор.

— Слушаю-с! — сказал камергер и опять пошел бегать по всем лестницам, комнатам и галлерейм; придворные тоже бегали за ним и расспрашивали, потому что им не очень-то хотелось быть колесованными. Но все поиски их оставались бесполезными: никто ничего не знал о соловье.



Наконец нашли они в кухне маленькую бедную девочку. Она сказала:

— О, я хорошо знаю этого соловья: да, умеет он петь — нечего сказать! Каждый вечер повар позволяет мне относить обеденные остатки к моей бедной, больной матушке, она живет на берегу моря и, когда я возвращаюсь домой и сажусь отдыхать в лесу, тогда слышу этого соловья! Как запоет он, мне плакать хочется; и кажется мне, что матушка целует меня!

— Девочка, — сказал камергер, — я тебе дам хорошую должность в кухне и позволение видеть, как император обедает, если ты сведешь нас к соловью, потому что он должен быть здесь сегодня вечером.



И, таким образом, все пошли в лес, где жил соловей. Когда они были на полдороге, недалеко от них замычала корова.

— А, — сказали придворные, — вот наш соловей! Однако какая удивительная сила в таком маленьком животном! Ну, его мы уже прежде слышали — это верно!

— Нет, это коровы мычат, — сказала девочка: — до того места, где живет соловей, еще далеко.

Через несколько времени заквакали лягушки в болоте.

— Прелесть! — сказал китайский придворный музыкант. — Теперь я слышу его: точь в точь как колокольчики!

— Нет, это лягушки, — сказала девочка, — но скоро услышим мы и соловья.

И, в самом деле, скоро он запел.

— Вот соловей! — сказала девочка. — Слушайте, слушайте! А вот он и сам сидит!

И она указала на маленькую серую птичку, сидевшую на верхней ветке дерева.

— Неужели это соловей? — спросил камергер. — Никогда бы я не думал, что у него такая простая и невзрачная наружность! Вероятно, он потерял все свои краски оттого, что видит перед собой такое множество знатных людей!

— Маленький соловей! — закричала девочка. — Наш всемилостивейший император желает чтоб ты пропел что-нибудь в его присутствии.

— С большим удовольствием! — сказал соловей, и запел так, что любо было слушать.

— Точь в точь как стеклянный колокольчик! — сказал камергер. — Посмотрите пожалуйста, как работает это маленькое горлышко! Удивительно в самом деле, что мы прежде его не слышали! О, он будет иметь большой успех при дворе.

— Угодно будет императору еще послушать меня? — спросил соловей, так как он думал, что император был в числе этих придворных.



— Мой драгоценный маленький соловей, — сказал камергер, — я имею величайшее удовольствие пригласить вас сегодня вечером на придворный праздник, где вы будете восхищать его императорское величество вашим удивительным голосом.



— Я люблю больше всего петь на открытом воздухе, — сказал соловей, но всё-таки с удовольствием принял приглашение, когда узнал, что император желает этого.

Дворец убрали очень парадно. Стены и потолок, сделанные из фарфора, блестели при свете нескольких тысяч золотых ламп; в галлереях были выставлены великолепнейшие цветы, которые звенели как колокольчики. Суматоха и беготня была страшная, а все колокола во дворце гудели так, что человеку нельзя было слышать своих собственных слов.

Посреди залы, перед троним императора, был устроен золотой шест для соловья. Весь двор собрался сюда, а девочке, отыскавшей птицу, тоже позволили стоять за дверью, так как она теперь получила должность придворной кухарки. Все были в са-

мых нарядных платьях и все смотрели на маленькую



серую птицу, удостоившуюся получить от императора приветливый поклон.

Запел соловей! Пел он так очаровательно, что у государя слезы выступили на глазах. Потом они полились по щекам, и тут соловей запел еще лучше: песнь его шла прямо к сердцу. Император был в восторге и сказал, что с этих пор соловей будет носить на шее его золотую императорскую туфлю. Но соловей поблагодарил за эту честь и сказал:

— Я уже и без того много награжден. Я видел слезы в глазах императора, это — мое драгоценнейшее богат-



ство. Слезы императора имеют особенную силу! Да, я много-много награжден!

И после этих слов он опять запел своим сладким, очаровательным голосом.

— Это самое милое кокетство, какое только мы когда-нибудь встречали, — говорили дамы и набрали в рот воды, чтобы когда кто-нибудь заговорит с ними — она переливалась в горе.

Они думали, что этим сделаются похожи на соловья.

По окончании пения было решено, что соловей останется при дворе, будет иметь свою особую клетку, но жить на свободе, вылетая гулять два раза в день и один раз ночью. Тут же к нему приставили двенадцать лакеев,



которые привязали к ноге соловья каждый по шелковой ленте и за эту ленту должны были держать его во время прогулок. Понятно, что летать таким образом было крайне неприятно!

Весь город заговорил об удивительной птице, и при встрече люди не спрашивали друг друга: „как ваше здоровье“, а говорили: „соловей!“ и при этом глубоко вздыхали. Двенадцать купцов называли даже по имени соловья своих детей; но у всех этих ребят не было в горле ни малейшего музыкального звука.

Раз император получил большой пакет с надписью: „Соловей“.

— Должно-быть,— сказал он,—это новая книга о нашем знаменитом соловье.

Но в пакете была не книга, а коробочка, в которой лежала редкостная вещица: искусственный соловей с виду похожий на живого, но весь выложенный брильянтами, рубинами и сапфирами. Как только эту игрушку заводили, она начинала петь одну из тех песен, которые пел настоящий соловей; при этом она поводила вверх и вниз хвостом и блестела серебром и золотом. На шее у нее висела маленькая лента с надписью: „Соловей императора японского—ничто в сравнении с соловьем императора китайского“.

— Это удивительно хорошо!—говорили все, и тот, кто принес искусственную птицу, тотчас же получил титул „императорского обер-соловейщика“.

— Ну, теперь,—сказал император,—пусть они споют вместе: воображаю, какой выйдет отличный дуэт!

И оба соловья запели вместе; но дело не ладилось, потому что живой соловей пел по-своему, а искусственный наигрывал вальсы.

— Это не его вина,—сказал обер-соловейщик,—он очень тверд в такте и поет по моей школе!

Тогда искусственного соловья заставили спеть одного. Он имел почти такой же успех, как живой соловей, и



притом он был гораздо красивее, блестя своим убранством.

Тридцать три раза пропел он одну и ту же пьесу и все-таки не устал. Придворные охотно прослушали бы его еще несколько раз, но император сказал, что теперь следовало бы и живому соловью пропеть что-нибудь... Куда же девался живой соловей? Никто не заметил, как он вылетел в открытое окно и помчался в свои зеленые леса.

— Однако, что же это такое? — сказал император.

И все придворные стали бранить соловья и говорить, что он очень неблагоприятное животное.

— Впрочем, ведь у нас осталась птица лучше его! — сказали они потом и опять завели искусственного соловья.

Таким образом им пришлось выслушать в тридцать четвертый раз одну и ту же песню. Но они все еще не знали ее наизусть, потому что она была трудная. В это время обер-соловейщик рассыпался в похвалах своей птице: он уверял, что она даже лучше живого соловья не только по внешнему виду и драгоценным камням, но и по внутренним достоинствам.

— Потому что, изволите ли видеть, государи мои, — говорил он, — и вы, ваше императорское величество, с живой птицей никогда нельзя положительно рассчитывать на нее, а в искусственной все заранее известно! Ее можно растолковать, можно растворить и показать, как в ней лежат различные вальсы, как они движутся, как один следует за другим.

— Мы думаем совершенно точно так же, — сказали все, и обер-соловейщику было позволено в следующее воскресенье показать птицу народу.

— Пусть и народ услышит ее! — приказал император.

И народ услышал и был так восхищен, как будто опился опиумом, что постоянно делают в Китае. Все го-



ворили: „О!“ и подымали вверх указательный палец и кивали головой. Но бедные рыбаки, слышавшие живого соловья, говорили:

— Он довольно хорошо поет; мелодии похожи одна на другую, но чего-то недостает, а чего — мы и сами не знаем.

Живого соловья изгнали из китайского государства.

Искусственный соловей постоянно помещался на шелковой подушке у самой постели императора; все подарки, которые он получал и которые состояли из золота и драгоценных камней, лежали вокруг него; при этом ему был дан титул „придворного певца ночного столика“, и по званию он считался первым с левой стороны, потому что император признавал самую важную левую сторону, на которой всегда находится сердце. А у императора сердце бывает, как и у других, тоже на левой стороне. Обер-соловейщик написал об искусственной птице сочинение в двадцати пяти томах; сочинение это было очень ученое и длинное, наполненное самыми трудными китайскими словами; все китайцы говорили, что они прочли его и поняли, потому что иначе их признали бы дураками и колесовали бы.

Так прошел целый год. Император, придворные и все остальные китайцы знали наизусть всякую малейшую ноту в песне искусственной птицы. Но именно поэтому она им нравилась теперь больше, чем когда-либо: они могли петь то же, что и она, и пели без-умолку. Уличные мальчишки напевали „зизизи кукуку“, император тоже.

Но раз вечером, когда птица пела очень усердно, а император, лежа на постели, слушал ее, вдруг внутри птицы послышался легкий треск. Затем затрещало еще сильней, все колеса игрушки забегали, и музыка прекратилась.

Император сейчас же вскочил с постели и послал за своим доктором; но что мог сделать доктор? Послали за



часовщиком; после многих разговоров и осматриваний он кое-как починил птицу, но сказал, что с нею надо обходиться очень осторожно, потому что винтики истерлись, а поставить новые, так, чтобы музыка шла верно, невозможно. Сильно опечалились все китайцы. Теперь они могли слышать птицу только раз в год, да и этого было для нее много. Но обер-соловейщик произнес речь, наполненную самыми трудными словами, и сказал, что птица поет так же хорошо, как прежде, и китайцы согласились с этим.

Прошло после этого пять лет, и Китай посетило большое горе. Китайцы все любили своего императора, а тут он заболел, и доктора говорили, что ему не выздороветь. Придворные выбрали уже себе нового императора, а народ стоял перед дворцом и спрашивал камергера, как здоровье старого государя.

— Гм!—отвечал камергер и качал головой.

Холодный и бледный лежал император в своей большой великолепной постели; все придворные считали его умершим, и каждый бежал поклониться новому государю. Камердинеры без-умолку болтали об этом происшествии, а у горничных собралось множество гостей. Все полы были покрыты сукном, чтобы не было слышно шагов, и потому во дворце было так тихо-тихо. Но старый император еще не умер: он только лежал неподвижно в своей великолепной постели, украшенной бархатными занавесами с большими золотыми кистями; окно было раскрыто, и луна светила на императора и искусственную птицу.

Бедный император едва мог дышать, и ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он раскрыл глаза и увидел, что в самом деле на его груди сидела смерть: она надела на себя золотую корону и держала в одной руке его золотую саблю, а в другой — его великолепное знамя. Из-за складок бархатных занавесок постели выглядывало много странных лиц: одни — отвратительные, другие — милые и кроткие. Это были добрые и злые дела



императора, смотревшие на него в то время, как смерть сидела на его груди.

— Помнишь ты это?—спрашивали они одно за другим.—А этого не забыл?—И они рассказывали ему так много, что на лбу его выступил холодный пот.

— Этого я никогда не знал!—вскричал император.—Музыку! Музыку сюда! Бейте в большой китайский барабан, чтобы я не слышал всего, что они говорят!



А злые и добрые дела продолжали говорить, и смерть, точно китаец, кивала головой при каждом их слове.

— Музыку! музыку!—кричал император.—Моя милая, хорошая птичка! Пой же, пой! Ведь я тебе подарил так много золота и драгоценностей, я повесил тебе на шею мою золотую туфлю. Отчего же ты не поешь?

Но птица молчала; в комнате не было никого, кто завел бы ее, а без этого она не могла петь. Между тем смерть продолжала смотреть на императора своими боль-



шими пустыми углублениями для глаз,—и во дворце было так тихо, так страшно тихо!

Вдруг перед окном раздалось восхитительное пение: на ветке дерева сидел маленький живой соловей. Он слышал о тяжелой болезни своего императора и прилетел, чтобы пропеть ему песнь утешения и надежды. И по мере того, как он пел, привидения становились бледнее и бледнее, кровь в слабых членах короля двигалась все быстрее и быстрее, и даже смерть слушала и говорила:

— Продолжай, маленький соловей, продолжай!

— Да, я буду продолжать,—сказал соловей,—но отдай мне за это золотую саблю, отдай богатое знамя, отдай корону императора.

И смерть за каждую новую песнь отдавала каждое из этих сокровищ, а соловей все продолжал петь. Он пел о тихом кладбище, где растут белые розы, где чудно пахнет сирень, где оставшиеся в живых роняют слезы на свежую траву, растущую на могилах мертвецов. Прослушав эту песнь, смерть захотела поскорее уйти в свой сад и скрылась, как холодный белый туман.

— Благодарю, благодарю тебя, божественная птичка!—сказал император.—Я узнал тебя! Ты—тот самый соловей, которого я изгнал из моего королевства. А между тем, ты своею песнью отогнал злых духов от моей постели и смерть от моего сердца! Чем я могу наградить тебя?

— Ты уже наградил меня!—ответил соловей.—Я заставил тебя заплакать, когда в первый раз пел перед тобою! Этого я никогда не забуду: такие слезы—драгоценности для сердца певца! Ну, теперь усни и потом встань свежим и здоровым. Я убаюкаю тебя.

И он запел, а император сладко заснул. Ах, это был такой тихий и благодетельный сон!

Солнце ярко светило в окна комнаты императора, когда он проснулся, свежий и здоровый. Никто из его слуг еще не входил в комнату, потому что все думали, что он умер; но соловей продолжал сидеть на ветке и петь.



— Останься у меня навсегда!—сказал император.— Ты будешь петь только тогда, когда тебе самому захочется, а эту искусственную птицу я разобью на тысячу кусков.

— Не делай этого!—сказал соловей.—Ведь она верно служила тебе, пока могла. Оставь ее у себя. Я не могу свивать своего гнезда во дворце и жить в нем; но позволь мне прилетать сюда, когда мне захочется. Прилетая, я буду садиться на ветку, вот перед этим окном, и петь тебе, чтобы ты утешался и думал о хорошем! Я буду петь о счастливых и страждущих, буду петь о добре и зле, обо всем, что люди, окружающие тебя, скрывают от тебя! Маленький соловей улетит далеко: к бедному рыбаку, под крышу поселянина, к тем, которые далеки от тебя и твоих придворных! Я люблю твое сердце больше, чем твою корону!.. И поэтому я буду прилетать к тебе и петь... Но ты должен обещать мне одно...

— Все, что тебе угодно!—сказал император, встав с постели, надев свое царское одеяние и прижав к сердцу золотую саблю.

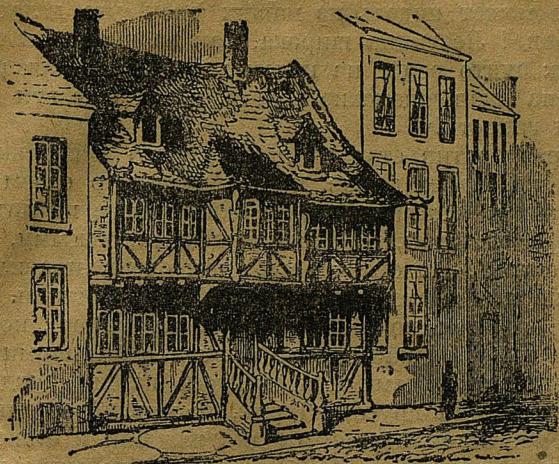
— Об одном я прошу тебя,—сказал соловей:—не рассказывай никому, что у тебя есть птичка, которая все говорит тебе. Тогда дело пойдет еще лучше.

И с этими словами соловей улетел.

Тут в комнату вошли придворные, чтобы взглянуть на своего умершего императора... А он стоял перед ними и говорил:

— Здравствуйте!





## Старый дом.

На одной из городских улиц стоял старый-старый дом. Ему было почти триста лет отроду; это видно было по надписи, которая красовалась над воротами посреди вырезанных на дереве цветов и разных фигур. Тут же были написаны по-старинному длинные стихи, а над каждым окном были вылеплены рожи со всевозможными гримасами. Дом был в несколько этажей, а под самую крышею помещалась водосточная труба с жестяною драконовою головой. Дождевая вода должна была течь из драконовой пасти, но текла из живота, потому что в трубе была дыра.

Все остальные дома в этой улице были очень новы и чисты, с большими окнами и гладко выштукатуренными стенами. По их виду можно было заключить, что они не хотели иметь с старым домом ничего общего. Очень может быть, что они думали: „Долго ли это старье будет стоять здесь к общему сраму! Карниз его так широк, что

Сказки Андерсена





никто не может видеть из наших окон, что делается на той стороне! Лестница широка, как во дворце, и так высока, как будто ведет на колокольню. Железная решетка похожа на кладбищенские ворота, а тут еще эти рожи... Ужасная гадость!"

Как раз против старого дома стояло несколько тоже новых и красивых домов, и они думали о своем соседе так же, как и остальные; но в окне одного из них сидел мальчик с свежими, румяными щеками, ясными, блестящими глазами, — и ему старый дом очень нравился как при солнечном свете, так и при лунном сиянии. Сильно занимал его этот дом, в котором жил старик, носивший короткие кожаные панталоны, сюртук с большими металлическими пуговицами и настоящий парик. Каждое утро к нему приходил другой старик, чистивший и убиравший все в доме. Остальное время дня живший в старом доме проводил совершенно один. Изредка подходил он к окнам и смотрел в них; в это время мальчик кивал ему головою, старик отдавал ему поклон, и, таким образом, они познакомились и подружились, несмотря на то, что никогда не говорили между собою ни слова. Да в этом и не было никакой надобности.

Мальчик слышал раз, как родители его говорили:

— У этого старика славное помещение, но как, должно-быть, страшно жить совершенно одному!

В следующее же воскресенье мальчик завернул что-то в бумагу, вышел за ворота и сказал человеку, который шел по обыкновению убирать в старом доме:

— Послушайте, отнесите, пожалуйста, это от меня тому старому господину, что живет в этом доме. У меня есть два оловянных солдатика; одного из них я посылаю ему, потому что знаю, в каком страшном одиночестве он живет.

Старый слуга радостно кивнул головой и понес оловянного солдатика в старый дом. Скоро после этого при слани узнать, не хочет ли мальчик сам прийти в гости

694028

Российская государственная  
детская библиотека



к старику. Родители позволили ему, и он отправился в старый дом.

Металлические головы на перилах лестницы блестели гораздо ярче, чем обыкновенно; можно было подумать, что их вычистили ради гостя. Казалось тоже, что вырезанные на воротах трубачи дули в свои инструменты из всех сил; их щеки были гораздо толще, чем прежде. Они дули:

„Тра-та-та! Маленький мальчик идет! Тра-та-та!“

— Но вот растворились двери. Вся прихожая была увешана старыми портретами, изображавшими рыцарей в латах и дам в шелковых платьях; латы звенели, шелковые платья шумели. Из прихожей шла лестница, в конце которой находился балкон, очень непрочный, с большими дырами и длинными щелями; из всех этих отверстий росли травы и листья, и весь балкон, двор и стены были так наполнены и покрыты зеленью, что можно было принять это место за сад, а между тем это было не что иное, как балкон. Тут стояли старые цветочные горшки с вылепленными на них лицами и ослиными ушами; цветы же росли, как им было угодно. В одном горшке росли во все стороны гвоздики, очень явственно говорившие: „Ветерок играл со мною, солнце целовало меня и обещало дать к воскресенью маленький цветок“.

После этого пришли в комнату, где стены были обтянуты свиною кожей, а на ней выдавлены золотые цветы.

„Что позолочено — сотрется,  
Свиная кожа остается!“

говорили стены:

Тут же стояли кресла с очень высокими спинками, вырезанными украшениями и ручками по обеим сторонам.

„Прошу вас садиться, — говорили они. — Ух как трещит моя внутренность! Теперь, верно, я заболелю подагрой, как заболел старый шкаф подагрой в спине... Ох!“

Наконец мальчик пришел в ту комнату, где сидел старик.



— Благодарю тебя за оловянного солдатика, любезный друг, — сказал старик, — и благодарю за то, что ты пришел ко мне.

„Благодарим! Благодарим!“ повторила вся мебель. Ее было так много, что вещи точно расталкивали друг друга, чтобы взглянуть на мальчика.

Посредине стены висел портрет молодой, прекрасной женщины, но одетой по-старинному: с пудрой в волосах и в туго накрахмаленном платье. Она не сказала „благодарю“, но взглянула своими кроткими глазами на мальчика, который тотчас же спросил старика:

— Где ты добыл ее?

— Вот в той лавочке старых вещей, — отвечал старик. — Там очень много картин. Никто их не знает и не обращает на них внимания, потому что все подлинники этих портретов умерли. Но эту женщину я знал много лет тому назад... Уж почти полстолетия, как ее нет на свете!

Под портретом висел за стеклом букет высушенных цветов, которым тоже было, верно, полстолетия: такой старый вид имели они. Маятник больших часов качался в ту и другую сторону, часовые стрелки обходили свой круг и все в комнате становилось еще старше, но никто не замечал этого.

— Мои родные, — сказал мальчик, — говорят, что ты живешь в страшном одиночестве...

— О! — отвечал старик. — Старые мысли и все, что они напоминают мне, часто навещают меня... А теперь вот и ты пришел... Нет, мне очень хорошо!

Сказав это, он снял с полки книгу с картинками: тут были нарисованы длинные процессии, удивительнейшие экипажи, каких в настоящее время не видно, солдаты, похожие на трефовых валетов, горожане с развевающими знаменами. У портных на знамени были нарисованы ножницы, поддерживаемые двумя львами, у сапожников — не сапоги, а орел с двумя головами, потому что эти ре



месленники не должны иметь ничего, о чем бы они не могли сказать: „это пара!“ Да, чудесные были картинки в книге.

Затем старик пошел в другую комнату за пирожным, яблоками и орехами... В самом деле, в старом доме было чудо как хорошо!

— Я не могу выдержать! — сказал оловянный солдатик. — Здесь так пусто и скучно! Кто привык к семейной жизни, для того здешнее житье невыносимо... Я не могу выдержать! День такой длинный, а вечер еще длиннее! Здесь совсем не так, как у тебя, где твои родители говорят так умно и приятно и где ты и твои милые братья и сестры так весело шумите! А у этого старика такая страшная пустота! Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Ты думаешь, кто-нибудь улыбается ему, делает ему под Рождество елку? — Нет, ничего этого нет, — и только могила ожидает его! Я не могу больше выдержать.

— Напрасно ты смотришь так печально на это житье, — сказал мальчик. — Мне все здесь очень нравится, да ведь сюда же приходят в гости все старые мысли и все, что они напоминают!

— Это так, но ведь я не вижу и не знаю их, — возразил солдатик. — Нет, эта жизнь для меня невыносима!

— Но ты должен ее выносить! — сказал мальчик.

В эту минуту старик вернулся с самым веселым лицом, неся в руках вкуснейшие засахаренные плоды, яблоки и орехи. Увидя это, мальчик и думать перестал про оловянного солдатика.

Веселый и счастливый вернулся он домой. Прошло несколько дней и несколько недель; в это время продолжались поклоны из старого дома и в старый дом; наконец мальчик снова пошел туда в гости.

Вырезанные трубачи заиграли: „Тра-та-та! Маленький мальчик пришел! „Тра-та-та!“ Мечи и вооружение на портретах старых рыцарей зазвенели; шелковые платья зашелестели; свиная кожа опять начала рассказывать;



старые кресла опять стали вздыхать от подагры. Все было как в первый раз, да и день и час пришлись те же самые.

— Я решительно не могу выдержать! — опять сказал оловянный солдатик. — Я плакал оловом! Здесь слишком скучно! Пусти меня лучше на войну; я готов потерять руки и ноги, лишь бы не оставаться здесь. Все-таки будет перемена! Я не могу выдержать!.. Теперь я знаю, что значит визит старых мыслей и всего, что они приводят за собою! Ко мне тоже приходили мои старые мысли и воспоминания, и поверь мне, что эти последние, наконец, очень досаждают. У меня это дошло до того, что я готов был спрыгнуть с своего места. Всех вас я видел перед собою так ясно, как будто вы в самом деле были здесь. Мне казалось, что было воскресенье, и именно тот час, когда вы, дети, все стоите перед столом и поете вашу утреннюю молитву. Вы стояли, набожно скрестив руки, и родители ваши были в таком же торжественном настроении. В это время растворилась дверь и в комнату вбежала твоя двухлетняя сестра Мария, которая начинает танцевать каждый раз, как услышит музыку или пение, какого бы то ни было рода. Вот и теперь, хоть совсем и не следовало, она заплясала, но никак не могла попасть в такт, потому что звуки молитвы были слишком медленны; девочка становилась то на одну ногу и вытягивала голову совсем вперед, то на другую и опять-таки вытягивала голову, — все не выходило как следует. Все вы стояли очень серьезно, хотя трудно было удержаться от смеха, но я расхохотался про себя и потому слетел со стола и получил шишку, которую ношу до сих пор; значит, я скверно сделал, что хохотал. Но все это и другое пережитое мною проходит в моей голове и вот это-то называется старыми мыслями со всем, что они приводят за собою. Скажи мне, все ли вы продолжаете петь по воскресеньям? Расскажи мне что-нибудь о маленькой Марии! А как здоровье моего товарища, другого



оловянного солдатика? Ах, вот он так очень счастлив... Нет, я не могу больше выдержать!

— Ты подарен сюда, — сказал мальчик, — и должен остаться! Разве ты сам не понимаешь этого!

В это время старик вошел с ящиком, в котором были разные вещи, каких теперь нигде не увидишь. Растворил он и другие ящики, раскрыл фортепиано, на крышке которого изнутри были нарисованы красивые виды. Старик заиграл на его хриплых, разбитых клавишах и при этом напевал себе что-то под нос.

— Да, эту песню пела когда-то она! — сказал он и при этом кивнул портрету, который был куплен им в лавочке... И глаза старика ярко засветились!

— Я хочу на войну! Я хочу на войну! — закричал оловянный солдатик из всех сил и бросился на пол.

Но куда же он девался? Старик искал, мальчик искал, — нет, да и только!

— Уж я его найду после! — сказал старик.

— Но после не нашел, потому что в полу было слишком много дыр. Оловянный солдатик попал в одну из них и лежал там, как в открытом гробу.

Прошел этот день, и мальчик вернулся домой. Прошла затем одна неделя, другая, третья. Окна совсем замерзли, и для того, чтобы увидеть старый дом, мальчику приходилось дуть на стекла своих окошек, чтобы сделать хоть маленькое отверстие. А в старом доме снегом занесло все завитки и надписи на стенах, все крыльцо, так что казалось, будто в доме никого не было... Старик умер!

В день его смерти, вечером, у дверей дома остановились дроги, на которые положили гроб с телом старика, чтобы повезти в деревню на семейное кладбище. Туда и повезли его, но никто не следовал за гробом; ни одного из друзей его уже не было на свете. только маленький мальчик послал ему вслед поцелуй.

Через несколько дней после этого в доме началась аукционная продажа, и мальчик видел из своего окна,







как оттуда уносили старых рыцарей и старых дам, цветочные горшки с ослиными ушами, старые стулья и старые шкапы. Одно несли сюда, другое туда, женский портрет, купленный в лавочке, вернулся в ту же лавочку, и никто не покупал его, потому что теперь никто уже не знал эту женщину, никто не обращал внимания на старую картину.

Весною и самый дом срыли, как ненужную развалину. И на этом самом месте построили новый, очень красивый дом с большими окнами и белыми гладкими стенами. Перед ним разбили небольшой сад, окруженный большою железною решеткою с железными дверями. Все это было весьма красиво. Люди останавливались перед решеткой и смотрели внутрь. Воробьи дюжинами садились на диком винограде, росшем по стене соседнего дома, и громко, как только могли, болтали между собою, но не о старом доме, потому что о нем они не могли помнить. Ведь с того времени прошло так много лет,—так много, что маленький мальчик сделался взрослым мужчиной, составлявшим утешение своих родителей. Он только что женился и с молодой женой перебрался в дом, перед которым был сад; тут он стоял с ней в то время, как она сажала в землю маленький полевой цветок, который казался ей очень красивым. Вдруг она вскрикнула, потому что укололась. Из мягкой земли высунулось что-то острое. Можете себе представить,—это был оловянный солдатик, тот самый, который попал в щель, откуда его долго перебрасывали с сором и стружками, и с тех пор он все лежал в земле.

Молодая жена вытерла мокрого солдатика сначала зеленым листом, потом своим носовым платком, который был надушен самыми лучшими духами... Оловянный солдатик чувствовал себя так, как будто очнулся от продолжительного обморока.

— Покажи-ка его мне! — сказал молодой муж; посмотрел, улыбнулся и покачал головою. — Да, конечно, это



не тот самый солдатик, но он напоминает мне историю с таким же солдатиком, бывшим у меня еще в детстве.

И он рассказал жене все, что помнил о старом доме и о старом хозяине его и об оловянном солдатике, которого он подарил старику, чтобы ему не так страшно было одиночество. И передавал это он точь в точь, как было на самом деле, так что у молодой жены слезы выступили на глазах из сожаления о старом доме и старике...

— А ведь очень возможно, — сказала она, — что это тот самый солдатик; я сохраню его и буду вспоминать обо всем, что ты рассказал мне; но ты должен свести меня на могилу старика.

— Да я не знаю, где она, — отвечал муж, — и никто не знает этого. Все друзья его уже были мертвы в то время, никто не провожал его гроба, а я был маленьким мальчиком.

— Ах, как страшно, должно-быть, жить одному! — сказала она.

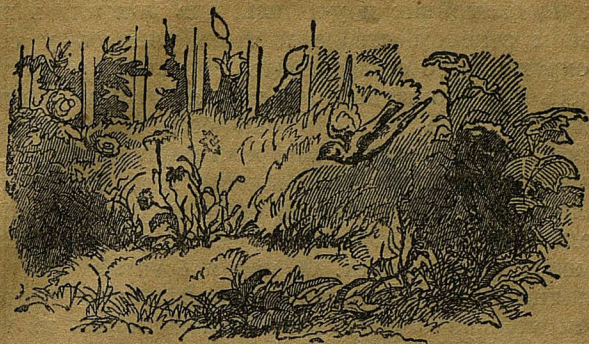
— Да, страшно, — отвечал оловянный солдатик, — но восхитительно не быть забытым.

„Восхитительно!“ воскликнул чей-то голос как раз около них; но никто, кроме оловянного солдатика, не заметил, что эти слова вышли из скважины куска свиной кожи, лежавшего тут без всякой позолоты. Он был похож на ком влажной земли, но все-таки имел свое мнение и высказал его в следующих словах:

„Что позолочено — сотрется,  
Грязная кожа остается!“

Но оловянный солдатик не верил этому.





## Маргаритка.

Послушай-ка, что я расскажу тебе.

За городом, у самой дороги, стоял сельский домик, — верно, ты сам видел его. Перед ним устроен маленький сад с цветами, огороженный выкрашенным палисадником. У самого этого палисадника, среди роскошнейшей зеленой травы, росла маленькая маргаритка. Солнце освещало и согревало ее точно так же, как и большие великолепные цветы в саду, и потому она росла с каждым часом. Однажды утром она стояла, совсем развернув свои маленькие, ослепительно белые листья, которые казались лучами, окружающими маленькое желтое солнце. Маргаритка не думала о том, что никто не видит ее здесь, в густой траве, и что она — бедный, неизвестный цветок. Нет, она была вполне весела и довольна, она повернулась лицом прямо к солнцу, смотрела на него и слушала жаворонка, который пел высоко в воздухе.

Маргаритка была так счастлива, как будто наступил великий праздник, а, между тем, это был простой понедельник. Все дети были в школе; в то время, когда они



сидели на скамейках и учились, она покоилась на своем маленьком зеленом стебле и тоже училась у солнца и всего окружавшего ее познавать любовь и красоту и очень нравилось ей, что жаворонок пел явственно и прекрасно передавал в песне все, что она безмолвно чувствовала. С каким-то благоговением смотрела маргаритка на счастливую птичку, имевшую возможность петь и летать, но не огорчалась тем, что у нее не было этой способности.

„Ведь я вижу и слышу,—думала она,—солнце освещает меня, ветер целует. О, как я богата!“

В палисаднике росло много напыщенных, гордых цветов; чем меньше запаху имел какой-нибудь из них, тем более он тщеславился. Пеонии раздувались из всей мочи, чтобы сделаться больше роз; но тут не в величине дело! Тюльпаны были окрашены в самые великолепные цвета и, зная это, стояли, вытянувшись в струнку, чтобы красота их была больше заметна. Они не обращали никакого внимания на маргаритку, но она тем более смотрела на них и думала:

„Как они богаты и прекрасны! Да! к ним, наверно, прилетает в гости прекрасная птичка... Я стою так близко от них, тут, по крайней мере, я могу видеть хорошо все это великолепие!“

И в ту самую минуту, как она это подумала, жаворонок с веселою песенкой слетел, но не к пеониям и тюльпанам, а в траву, к бедной маргаритке. От сильной радости она так испугалась, что не знала, как ей и быть.

Птичка порхала вокруг нее и пела:

— Ах, какая тут мягкая трава! А этот цветок — как он мил с золотом в сердце и серебром на платье!

Действительно, желтая сердцевина маргаритки была похожа на золото, а маленькие белые листья блестели как серебро.

Нельзя себе представить, как была счастлива маргаритка. Жаворонок поцеловал ее клювом, пропел прощальную песенку и снова полетел высоко к голубому небу.



По крайней мере, четверть часа прошло прежде, чем маргаритка успела опомниться. Полустыдливо, но с глубокой радостью на душе смотрела она на цветы в саду: ведь они видели, какая честь, какое счастье были даны, ей, они должны были понять ее радость. Но тюльпаны стояли так же надменно, как прежде, и при этом лицо их было красно от злости, потому что они рассердились. Пеонии тоже были очень злы; хорошо, что они не могли говорить, иначе маргаритка получила бы от них порядочный выговор. Бедный цветок ясно видел, что все они были в скверном расположении духа, и это очень огорчило его. В это же самое время в сад вошла девушка с большим и острым ножом; она направилась прямо к тюльпанам и начала их срезать один за другим.

„Ох,—подумала, вздохнув маргаритка,—как это страшно! Вот и конец им!“

Срезав тюльпаны, девушка унесла их. Маргаритка очень радовалась тому, что она росла за палисадником, в траве, и была бедным, простым цветком. Сердце ее было полно благодарностью, и, когда солнце зашло, она свернула свои листья, уснула, и целую ночь ей снились солнце и маленькая птичка.

На следующее утро, когда маргаритка снова радостно протянула все свои белые листья, точно ручки, к солнцу и воздуху, послышался знакомый голос жаворонка; но теперь песня его была такая грустная! Да, нельзя было бедному жаворонку веселиться: он был пойман и сидел в клетке около открытого окна. Пел он о свободном и счастливом летании по воздуху; пел о молодом зеленом хлебе на поле и о чудных путешествиях, которые он мог совершать на своих крыльях высоко-высоко... Сильно тосковала птичка: она сидела в клетке.

Маргаритке очень хотелось помочь жаворонку. Но как это сделать? Она и придумать ничего не могла. И позабыла она совсем, как хорошо было все окружавшее ее, как тепло светило солнце и какую чудною белизною бле-



стели ее собственные листья! Ах! все позабыла она и думала только о пойманной птичке, которой она решительно ничем не могла помочь.

В это время из сада вышли два мальчика; один из них держал в руке ножик, такой же большой и острый, как тот, которым девушка срезывала тюльпаны. Они подошли прямо к маргаритке, которая не могла понять, что они хотят делать.

— Здесь мы можем вырезать отличный кусок дерна для жаворонка,—сказал один мальчик и вырезал вокруг маргаритки четырехугольный кусок таким образом, что она очутилась посредине.

— Сорви этот цветок!—сказал другой.

Маргаритка задрожала от страха, потому что ведь быть сорванной значит умереть. А ей теперь так хотелось жить, чтобы перейти вместе с выкопанным дерном в клетку жаворонка.

— Нет, пусть он тут останется,—возразил первый мальчик.—От него этот дерн еще красивее!

Таким образом маргаритка уцелела и попала в клетку жаворонка.

Но бедная птичка громко тосковала о потерянной свободе и билась крыльями о железную проволоку клетки. Маргаритка не могла говорить, не могла, хоть очень желала, произнести ни одного утешительного слова. Так прошло все утро.

— Тут нет ни капли воды!—говорил жаворонок.—Все они ушли и забыли дать мне напиться. В горле у меня совсем пересохло... Внутри огонь и лед, и дышать так тяжело! Ах, я должен умереть, должен расстаться с теплым светом солнца, с свежою зеленью, со всеми этими чудесными вещами, созданными природой.

Бедная птичка уткнулась клювом во влажный дерн, принесенный мальчиками, чтобы хоть немного освежиться, и увидела маргаритку. Жаворонок приветливо кивнул ей, поцеловал ее и сказал:



— И ты тоже засохнешь здесь, бедный, маленький цветочек! Тебя и небольшой кусок зеленого дерна дали мне взамен целого мира, который я имел, когда был на свободе. Они хотят, чтоб каждая былинка этой травы служила мне зеленым деревом, а каждый из твоих белых лепестков — пахучим цветком!

„Ах! если бы я могла хоть немного утешить его!“ думала маргаритка, но не могла пошевелить ни одним листиком.

Только запах, исходивший из ее тонких лепестков, был гораздо сильнее, чем обыкновенно; это заметил и жаворонок, и хотя он изнывал от жажды и судорожно вырывал из дерна одну травку за другою, но к маргаритке не прикоснулся.

Наступил вечер, а бедной птичке все-таки никто не приносил воды. Тогда она распростерла свои хорошенькие крылья и судорожно потрясла ими; потом запела так тоскливо-тоскливо, головка ее склонилась к маргаритке, и сердце разорвалось от лишений и грусти. Теперь уже маргаритка не могла, как в прошедшую ночь, свернуть свои листья и уснуть; она болезненно и печально склонилась к земле.

Только на следующее утро мальчики вошли в комнату, и когда увидели, что жаворонок умер, то заплакали, — заплакали горько и вырыли для него хорошенькую могилку, украсив ее цветами. Тело жаворонка дети положили в красивый ящик; бедной птичке устроили царские похороны. Когда она жила и пела, ее забывали, держали в клетке и лишали необходимого; теперь, после смерти, ее начали чествовать и оплакивать.

А дерн с маргариткой был выброшен на пыльную дорогу. Никто не думал о той, которая больше всех любила бедного жаворонка и так сильно хотела утешить его!

---





## Елочка.

Росла в одном лесу красивая маленькая елка. На хорошем месте стояла она; солнце имело к ней свободный доступ, воздуху вокруг нее было вдоволь, а подле росло много старших подруг ее — елей и сосен. Но маленькой елке так сильно хотелось подрасти! Мало ей было дела до теплого солнышка и светлого воздуха; мало внимания обращала она на крестьянских детей, прыгавших и шумевших вокруг нее в то время, когда они выходили в лес за ягодами. Часто приносили они полный горшок земляники, садились подле елки и говорили: „Какое хорошенькое маленькое деревцо!“ Эти слова были для елки невыносимы.

Через год она подросла на один сустав, а как прошел год — еще на один: так уж всегда делается с елками: по числу суставов узнают, сколько дереву лет.



„Ах, когда-то я буду таким большим деревом, как другие,—вдыхая, думала маленькая елка.—Как широко раскину я тогда свои ветви и как далеко посмотрю своей верхушкой! Птицы станут вить гнезда в моих ветвях, а когда задует ветер, я буду так же гордо качать головою, как другие деревья!“

Не радовали елку ни солнечный свет, ни птицы, ни красноватые облачка, утром и вечером плывшие над нею.

А когда наступила зима, когда сверкающий снег покрывал всю окрестность и какой-нибудь заяц перепрыгивал через нашу елку,—как досадовала она на зайца и на свой маленький рост! Но прошло две зимы и на третью деревцо было уже так велико, что зайцам приходилось уж обегать вокруг него.

„О, расти, расти, становиться большим и возмужалым,—что может быть на свете лучше этого?“ думало маленькое деревцо.

Осенью в лес обыкновенно приезжали дровосеки, срубавшие самые большие деревья; это случалось каждый год, и наша елочка, уже совсем выросшая, дрожала от ужаса, видя, как у них обрубали ветви и как они лежали обнаженные, обезображенные до того, что почти невозможно было узнать их. Затем их клали на телеги, и лошади увозили их из лесу.

Куда это везли их? Какая участь предстояла им?

Весною, когда прилетели ласточки и журавли, елка спросила у них:

— Не знаете ли, куда повезли деревья? Не встретили ли вы их?

Ласточки ничего не знали, но журавль сделал серьезную мину, кивнул головой и сказал:

— Еще бы мне не знать! На возвратном пути из Египта я встретил много новых кораблей; на кораблях стояли красивые мачты: полагаю, что это были ели, от них пахло ельником...



— Ах, когда же я вырасту настолько, чтобы иметь возможность плавать по морю! А каково, скажите, это море? Какая у него наружность?

— Ну, объяснять это слишком долго, — сказал журавль и улетел.

— Наслаждайся своею молодостью, — говорили солнечные лучи, — наслаждайся своими свежими силами, наслаждайся молодою жизнью, которая цветет в тебе!

И ветер целовал елку, роса кропила ее слезами; но елка не понимала этого.

Наступили святки. В лесу начали срубить совсем молодые деревья, такие деревья, которые и ростом и годами были меньше нашей елки, не знавшей ни отдыха ни покоя и все думавшей, как бы вырваться из лесу. У этих молодых деревьев ветвей не обрубали: их клали на телеги, и лошади увозили их из лесу.

— Куда это везут их? — спрашивала ель. — Ведь они не больше меня, а одно так было гораздо меньше! И отчего это у них не обрубают ветвей? Куда их везут?

— Это мы знаем, это мы знаем! — щебетали воробьи. — Мы были в городе и смотрели в окна. Мы знаем, куда их повезли! Они окружены таким великолепием, какое только можно представить себе! Мы смотрели в окна и видели, что елки стояли посреди теплых комнат, украшенные чудеснейшими вещами, позолоченными яблоками, медовыми пряниками, игрушками и целыми тысячами свечей.

— Ну, что ж дальше? — спрашивала елка и трепетала всеми своими ветвями. — Что ж дальше? Что делалось с ними потом?

— Больше мы ничего не видали... Ах, как это было хорошо, беспримерно хорошо!

„Неужели же и мне суждено вступить на такую же блистательную дорогу? — с наслаждением думала елка. — Ведь это еще лучше, чем переплывать моря! Ах, как томит меня ожидание! Скорее бы наступили святки!..



Теперь ведь я уж так же велика, как те деревья, что увезли в прошлом году.. Ах, когда же я буду лежать на телеге? Когда же я буду стоять в теплой комнате, окруженная всевозможным великолепием?.. Но что будет потом?.. О, потом будет что-нибудь еще лучше, еще прекраснее... Да, это верно,—потом ожидает меня еще большее великолепие!.. Но что именно?.. О, как я страдаю, как томительно жду я! Сама не знаю, что со мной делается!“

— Наслаждайся нами:—говорили воздух и солнце.— Наслаждайся на свободе своею свежою молодостью!

Но она не думала наслаждаться и все росла, росла; лето и зиму стояла она в своей темнозеленой одежде... Дровосеки смотрели на нее и говорили:

— Отличное дерево.

И когда пришли святки, ее срубили раньше всех других. Глубоко врезался в нее топор, с глубоким стоном упало дерево на землю; сильную боль ощутило оно и чуть не лишилось чувств; теперь ему было не до мысли о каком бы то ни было счастье: мучила его мысль о разлуке с родиной, с тем местом, на котором оно выросло; знала бедная елка, что не видать ей больше милых старых подруг и молодых кустарников и цветочков, а может-быть, даже и птиц!.. Очень тяжелая была эта разлука!

Елка пришла в себя только тогда, когда ее привезли в какой-то двор, и незнакомый человек, осмотрев все привезенные деревья, сказал:

— Вот это превосходное дерево! Только его мы и возьмем!

После этих слов пришли двое разряженных лакеев и перенесли елку в большую красивую залу. По стенам были развешаны картины, а подле камина стояли большие китайские вазы со львами на крышках; тут были качающиеся кресла, шелковые диваны, большие столы, заваленные книгами с картинами, и игрушки, стоившие тысячу талеров,—так, по крайней мере, говорили дети.



Нашу елку поставили в кадку, наполненную песком; но никто не мог бы догадаться, что это кадка, потому что ее обтянули кругом зеленою материею и поставили на большой пестрый ковер... О, как билось сердце у елки! Что-то будет дальше!.. Слуги и хозяйка дома начали убирать ее. На одну ветку они повесили несколько маленьких гнезд, вырезанных из разноцветной бумаги; каждое гнездо было наполнено конфетами; позолоченные яблоки и орехи висели на других ветвях, точно росли на них; а между всем этим красовалось множество красных, синих и белых свечей. Куклы, похожие на живых людей, — елка никогда таких не видала, — висели в зелени дерева, а на верхушке его укрепили звезду из золотой бумаги. Красота была неописанная.

— Сегодня вечером, — говорили все, — сегодня вечером все это будет блеснуть!

„Ах, — думала елка, — только бы скорее пришел вечер! Только бы скорее зажгли свечи! А что будет потом?.. Придут ли из лесу деревья посмотреть на меня? Прилетят ли воробьи к окнам? Останусь ли я здесь навсегда, так хорошо убранная?“

Наконец зажгли свечи. Что за блеск, что за великолепие! Елка так задрожала от радости всеми своими ветвями, что зелень ее коснулась одной из свечей, и дерево загорелось не на шутку.

— Ай! Ай! Ай! Страсти! — закричали женщины и поспешно загасили огонь.

Тут уж елка дала себе слово не дрожать больше. Сильно напугало ее это происшествие... Потерять что-нибудь из своих украшений казалось ей большим несчастьем; блеск, окружавший ее, совсем ошеломил бедную... Но вот растворились настежь двери, и толпа детей ринулась к елке так стремительно, как будто хотела опрокинуть ее; за ними со вниманием следили старшие. Дети точно онемели от удивления; но не прошло и минуты, как стены задрожали от их радостных криков: весело стали



они плясать вокруг елки и снимать с нее один подарок за другим.

„Что это они делают? — думала елка. — Что будет дальше?“

А между тем свечи догорели до конца, тут их погасили, а детям позволили сорвать с дерева все его украшения. Господи, как кинулись они на елку! Все ветки ее затрещали, и не будь она прикреплена к потолку золотой звездой, пришлось бы ей лежать на полу...

Дети продолжали плясать с своими великолепными игрушками. На елку никто уже не обращал внимания; только старая няня подошла к ней и начала осматривать ветви, да и то для того, чтобы узнать, не осталась ли несорванной какая-нибудь груша или ягода.

— Сказку! Сказку! — закричали дети и притащили к елке маленького толстого человечка.

Он уселся под деревом и сказал:

— Мы теперь в лесу, и этому дереву, может, особенно полезно послушать наши рассказы... Но я расскажу вам только одну сказку. Какую хотите: об Иведэ-Аведэ или о Клумпе-Думпе, который был сброшен с лестницы, но, несмотря на это, добился больших почестей и получил руку принцессы?

— Иведэ-Аведэ! — кричали одни. — Клумпе-Думпе! — требовали другие.

Шум и гам пошел такой, что ужас. Только елка молчала и думала:

„Неужели же я останусь в стороне, не приму в этом никакого участия! Ведь я сделала все, что от меня требовали!“

Толстый человек рассказал сказку о Клумпе-Думпе, который был сброшен с лестницы и, несмотря на это, добился больших почестей и женился на принцессе. Когда он кончил, дети захлопали в ладоши и закричали:

— Расскажи еще, Расскажи еще!



Им хотелось послушать про Иведэ-Аведэ, но это не удалось: так на Клумпе-Думпе дело и кончилось. Елка стояла в глубокой задумчивости,—никогда и ничего подобного не рассказывали ей птицы в лесу.

Клумпе-Думпе был сброшен с лестницы и, несмотря на это, женился на принцессе! Да, да, так бывает на свете!—думала елка и была уверена, что все это правда, потому что рассказывал эту историю такой порядочный человек.—Да, как знать!—продолжала она раздумывать.—Может-быть, и меня сбросят с лестницы, и я выйду замуж за принца?—И елка восхищалась при мысли, что на следующий день ее снова уберут свечами, игрушками, позолотою и плодами.—Завтра я уж не буду дрожать!—думала она.—Я буду вполне наслаждаться моим великолепием... Завтра мне опять расскажут про Клумпе-Думпе, а может-быть, и про Иведэ-Аведэ!“ И дерево стояло всю ночь безмолвно и задумчиво.

Утром в комнату вошли лакей и горничная.

„Вот сейчас начнут снова убирать меня“, подумала елка.

Но слуги вытащили ее из комнаты, поволокли вниз по лестнице и там поставили в темный угол, куда не проникал ни один луч дневного света.

„Что бы это такое значило?—подумала елка.—Что я здесь стану делать? Что я могу услышать здесь!“ Она прислонилась к стене и все раздумывала, раздумывала... А времени на это у ней было не мало, потому что дни проходили за днями, ночи—за ночами, а никто не навещал елку.

Когда же, наконец, пришли к ней, то только для того, чтобы поставить в том же углу несколько больших сундуков. Совсем закрыли елку этими сундуками; казалось, что о ней решительно позабыли.

„Теперь на дворе зима,—думало дерево.—Земля жестка и покрыта снегом, от этого люди не могут посадить меня в нее, и вот почему будут они беречь меня здесь до вес-



ны. Как хорошо это придумано! Какие добрые эти люди!.. Будь только здесь не так темно и страшно пустынно!.. Ни живой души не видно!.. Хоть бы зайчик пробежал!.. Поневоле вспомнишь, как хорошо было в лесу, когда кругом лежал снег и зайцы прыгали мимо и даже через меня!.. Но в то время это было для меня невыносимо... А теперь... Ах, как здесь страшно пусто!"

„Пи! Пи!“ пропищала в эту минуту маленькая мышь и выползла из норки; за нею последовала другая. Они обнюхали елку и затем приютились между ее ветвями

— Какой ужасный холод!—сказали мыши.—Не будь его, здесь было бы отлично... Правда, старая ель?

— Я совсем не старая,—отвечала ель.—Есть много деревьев гораздо старше меня.

— Откуда ты,—спросили мыши,—и что ты знаешь?—Любопытство сильно подстрекало их.—Расскажи нам о прекраснейшем месте на земле... Была ли ты там? Бывала ли ты в тех столовых, где на полках лежат сыры, а на потолках висят окорока, где плясешь на сальных свечах, кудаходишь тощим, а выходишь жирным?

— Ничего этого я не знаю,—отвечала ель,—но я знаю лес, в котором светит солнце и поют птицы..

И стала елка рассказывать всю историю своего детства, а мыши слушали эти совершенно новые для них рассказы, и, когда дерево кончило, сказали:

— Экое множество вещей ты видела! Как ты была счастлива!

— Я?—проговорила елка и сама задумалась над тем, что она рассказала.—Да, действительно, веселые были дни..

И затем она начала говорить мышам о святочном вечере, когда ее убирали конфетами и свечами.

— О!—воскликнули мыши.—Как счастлива была ты, старая ель!

— Я совсем не стара,—возрозило дерево.—Меня только нынешней зимою вывезли из лесу.



— Как ты хорошо рассказываешь! — сказали мыши и на следующую ночь пришли со множеством других маленьких мышей, которые тоже хотели послушать елку. И чем больше елка рассказывала, тем яснее припоминала она все пережитое ею и думала:

„Да, веселое было время! Но оно может снова вернуться: ведь Клумпе-Думпе сбросили с лестницы, а он все-таки женился на принцессе... Может-быть, и я выйду замуж за принца!“

При этом елка вспомнила один хорошенький дубок, росший подле нее в лесу, и теперь он представлялся ей прекрасным принцем.

— Кто это Клумпе-Думпе? — спросили мыши.

И елка рассказала им всю сказку, потому что помнила каждое слово ее; мыши были вне себя от радости и чуть не прыгали до верхушки дерева. На следующую ночь пришло еще больше мышей, а еще через ночь приплелись даже две крысы; но крысам сказка не понравилась, что очень огорчило маленьких мышей, которые вследствие этого тоже перестали восхищаться ею, как прежде.

— Вы только одну сказку и знаете? — спросили крысы.

— Только одну, — отвечала елка. — И ее я услышала в первый раз в счастливейший вечер моей жизни; но в то время я не вполне понимала свое счастье.

— Это очень плачевная история! Не знаете ли вы какого-нибудь рассказа о свином сале и сальных свечах, какой-нибудь съестной сказочки?

— Нет! — отвечало дерево.

— В таком случае имеем честь вам кланяться, — сказали крысы и отправились во-свояси.

За ними скоро последовали и мыши. Елка осталась одна и, вздыхая, думала:

„А ведь как было хорошо, когда эти вертлявые мыши сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Теперь и это прошло!.. Но я буду с радостью вспоминать об этом времени, когда меня вынесут отсюда...“



Когда же это случилось?.. Случилось однажды утром. Пришли какие-то люди и стали убирать: сундуки были отставлены в сторону, ель вытащена из угла. Потом ее не особенно деликатно бросили на пол; но тут один из слуг поднял ее и поволок по лестнице, внизу которой был уже виден дневной свет.

„Вот она, новая жизнь!“ подумала ель; она чувствовала свежий воздух, теплоту первых солнечных лучей и скоро очутилась на дворе. Все это сделалось так быстро, что дерево не вспомнило даже осмотреть само себя; да и как ему было сделать это, когда вокруг столько вещей приковывало его взоры. Двор примыкал к саду, в котором все было в полном цвету; свежие, пахучие розы перевешивались через низкую садовую решетку, липы красовались в яркой зелени, а ласточки летали взад и вперед и пели песни дружеского привета... Но не к ели обращались эти песни их.

„Теперь - то начну я снова жить“, подумала ель и растопырила было свои ветви... Но — увь! — они были совсем желты, и само дерево лежало на земле посреди бурьяна и пыли. Звезда из золотой бумаги все еще красовалась на его верхушке и блестела под яркими лучами солнца.

На дворе играло двое веселых детей, тех самых, которые в святочный вечер плясали вокруг нашей елки и так восторгались ею. Один из них подбежал теперь к ней и сорвал золотую звезду.

— Посмотри-ка, что еще осталось на этой противной, старой ели! — сказал мальчишка и наступил на ветку ее так сильно, что она затрещала под его сапогами.

Печально смотрела ель на цветущую, свежую зелень сада, печально смотрела она и на себя, и жалела даже о том темном уголке, в котором провела всю зиму: вспоминались ей ее свежая молодость в лесу, веселый святочный вечер и маленькие мыши, которые с такой радостью слушали сказку о Клумпе-Думпе..

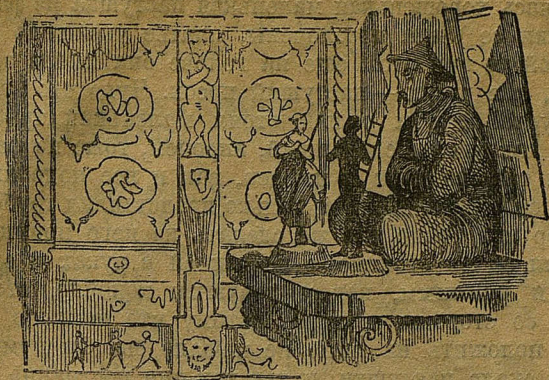


— Все это прошло! прошло! — говорило дерево. — И как жаль, что я не вполне насладились всем этим в то время, когда могла наслаждаться... Все прошло!.. Прошло!..

Через несколько времени слуга подошел к ели и изрубил ее на маленькие части; скоро вся связка их ярко горела под большим кухонным котлом... Глубоко, так глубоко вздыхало дерево, что каждый вздох был похож на легкий выстрел; это так заняло детей, случившихся здесь на эту пору, что они подсели к огню и, глядя на него, вскрикивали: „пиф! пиф!“ А ель при каждом треске своих сучьев вспоминала о летних днях в лесу, о зимних ночах под открытым небом, когда на нем искрились звезды, вспомнила о святочном вечере и о сказке про Клумпе-Думпе, единственной сказке, которую она слышала в жизни, и через несколько минут сгорела.

А дети гуляли в саду, и на груди у одного из них красовалась та самая звезда, которую наша елка носила в счастливейший вечер своей жизни... Прошел этот вечер, прошла и жизнь самой елки, кончилась и наша история.. Все проходит, все кончается на свете!





## Пастушка и трубочист.

Ты, верно, видел когда-нибудь совершенно старый деревянный шкаф, совсем почерневший от старости и украшенный вырезанными на нем листьями и разными фигурами? Вот точно такой шкаф стоял в одной комнате: он перешел в наследство от прапрабабушки и сверху донизу был покрыт вырезанными розами и тюльпанами. Тут же красовались самые причудливые узоры, между которыми виднелись маленькие оленьи головы с рогами. В самой же середине шкапа находилось вырезанное изображение человека во весь рост: вид его был самый смешной, потому что он стоял, оскалив зубы; ноги его были козлиные, на голове возвышались рога, борода тянулась чуть не до пояса. Дети, жившие в этой комнате, называли его козлоног-обер-унтер-генерал-кригскомандир-сержант; название это трудно выговорить, и такой титул получают немногие; ну, да и вырезать этого человека тоже ведь стоило не мало труда. Стоя на шкапу, он постоянно смотрел на подзеркальный столик, потому что на нем



помещалась хорошенькая маленькая пастушка из фарфора. Башмачки ее были позолочены, платье украшено пунцовой розой, и при этом еще на голове она имела золотую шляпку, а в руках — пастуший посох. Чудо что это была за фигурка! Рядом с ней стоял маленький трубочист, черный как уголь, сделанный, впрочем, тоже из фарфора. Он был так же чист и изящен, как и все подобные фигурки, потому что ведь он только представлял трубочиста, и мастер мог точно так же сделать из него принца.

Стоял он на столике, с лестницей в руках и с лицом белым и румяным, как у девушки; конечно, это была ошибка со стороны мастера, потому что немного черной краски положить на лицо не мешало бы. Он помещался как раз около пастушки, и так как они постоянно стояли рядом, то и обручились. Парочка была самая подходящая: оба были молодые люди, оба сделаны из одного и того же фарфора и оба одинаково ломки.

Подле них стояла еще одна фигура, втрое больше их. Это был старый китаец, кивавший головой. Он тоже был сделан из фарфора и говорил, что пастушка — его внучка; но этого, конечно, он не мог доказать. Он утверждал, что пастушка обязана исполнять все его приказания, и потому однажды указал ей на козлонога-обер-унтер-генерал-кригскомандир-сержанта, хотевшего жениться на пастушке, и сказал ей:

— Вот тебе муж; сколько мне кажется, он из красного дерева. Он может сделать тебя козлоног-обер-унтер-генерал-кригскомандир-сержантшей; у него полный шкаф серебра, да еще сколько других богатств в секретных ящиках!

— Я не хочу идти в темный шкаф, — отвечала пастушка. — Я слышала, что там у этого человека спрятано еще одиннадцать фарфоровых жен.

— Ну, так ты будешь двенадцатая! — сказал китаец. — Сегодня ночью, как только в шкапу послышится треск, мы сыграем свадьбу. Это верно, как то, что я — китаец.



Сказав это, он кивнул головою и заснул.

А пастушка плакала и смотрела на своего милого трубочиста.

— Знаешь, о чем я попрошу тебя? — сказала она ему. — Уйдем куда-нибудь, потому что здесь мы не можем оставаться.

— Я сделаю все, что тебе угодно, — сказал трубочист. — Уйдем сейчас же. Я уверен, что буду в состоянии прокормить тебя моим ремеслом.

— Как бы нам только благополучно сойти с этого столика! — заметила пастушка. — Я только тогда успокоюсь, когда мы будем далеко отсюда.

Трубочист начал утешать ее и показывал, как ставить ногу на вырезные углы и позолоченные украшения столика; чтобы помочь ей, он взял свою лестницу, и скоро они были на полу. Но, взглянув на старый шкаф, они заметили там суматоху: все вырезанные на нем олени высунули головы довольно далеко, подняли рога и повернули шеи; козлоног высоко подпрыгнул и крикнул старому китайцу: „Они убегают! Они убегают!“

Пастушка и трубочист испугались и поспешно прыгнули в ящик, стоящий у подоконника.

В этом ящике лежало несколько неполных колод карт и маленький кукольный театр. В нем в это время давалось представление; все дамы — бубновые и червонные, трефовые и пиковые, сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами; позади них стояли все валеты и показывали, что у них две головы — одна вверху, другая внизу. Сюжет представления состоял в том, что двое влюбленных не могли обвенчаться. Пастушка, глядя на это, плакала, ведь, с ней было то же самое.

— Нет, это для меня невыносимо! — сказала она. — Я должна уйти из этого ящика!

Но, когда они снова очутились на полу и взглянули на стол, то увидели, что старый китаец уже проснулся и тряся всем телом.



— Ах, старый китаец идет сюда! — вскричала пастушка и упала на свои фарфоровые колени: так сильно она была опечалена.

— Мне пришла отличная мысль, — сказал трубочист: — залезем мы вот в ту большую вазу с духами и цветами. Там будем мы лежать на розах и фиалках, и когда китаец подойдет, станем брызгать ему солью в глаза.

— Нет, это будет совершенно бесполезно, — возразила пастушка. — Притом я знаю, что китаец и эта ваза были прежде обручены, а уж между бывшими в таких отношениях всегда остается хоть какое-нибудь взаимное расположение. Нет, нам остается одно — отправиться странствовать по свету.

— Так ты, действительно, решилась, — спросил трубочист, — пойти со мной по свету? Подумала ли ты, что этот свет очень велик и что мы уж никогда не вернемся сюда?

— Я все обдумала! — отвечала она.

Трубочист пристально смотрел на нее несколько минут и потом сказал:

— Моя дорога идет через трубу. Хватит ли у тебя духу ползти за мною в печку, через трубы и извилины? Если да, то мы взберемся на крышу, а уж там я сумею действовать. Мы залезем так высоко, что нас никто не поймает, а там, наверху, есть дыра, которая ведет на свет.

И, сказав это, он повел ее к дверцам печки.

— Как тут темно! — сказала она, но все-таки полезла и стала взбираться в самой ужасной темноте.

— Вот мы и в трубе! — объявил трубочист. — И смотри, смотри! — там, наверху, светит великолепная звезда!

И, в самом деле, с неба прямо на них светила звезда, как будто желала указать им дорогу. А они все продолжали ползти и взбираться. Ужасная это была дорога, такая длинная-длинная. Но трубочист помогал пастушке;



он показывал ей лучшие места, на которые она могла ставить свои фарфоровые ножки. Так добрались они до края трубы и уселись на ней, потому что сильно устали, — да и нельзя было не устать!

Небо со всеми своими звездами было над их головами, а все крыши города — глубоко внизу. Далекие-далекие окрестности могли они видеть отсюда. Бедная пастушка никогда не думала, что свет такой большой; она положила свою голову на плечо своего трубочиста и заплакала так сильно, что с ее пояса отскочило золото, которым он был покрыт.

— Нет, это уж чересчур, — сказала она: — этого я не могу вынести. Свет слишком велик. Ах, как бы я хотела снова очутиться на своем столике под зеркалом! Я до тех пор не успокоюсь, пока не вернусь туда. Я пошла за тобой сюда, значит и ты, — если только ты любишь меня, — можешь опять проводить меня назад.

Трубочист начал рассуждать с ней очень умно и толково, говорил о старом китайце и козлоноге; но она рыдала так громко и целовала своего маленького трубочиста так крепко, что ему оставалось только исполнить ее желание, несмотря на то, что это было чистое сумасшествие.

Таким образом с большими затруднениями полезли они опять вниз, опять по темным трубам и переходам, и, наконец, очутились в самой печке. Тут остановились они перед дверцами и стали прислушиваться, что делается в комнате. В комнате было очень тихо; они выглянули из дверец — и увидели, что старый китаец лежит на полу. Он слетел со стола в ту минуту, как погнался за ними и разбился на три части: спина совсем отвалилась, а голова закатилась в угол комнаты! Козлоног стоял на прежнем месте и о чем-то думал.

— Это ужасно! — сказала пастушка. — Дедушка разбился в куски, и мы тому виною! Ах, я не переживу этого!

И она начала ломать себе руки.



— Его еще можно починить, — успокаивал ее трубочист, — еще можно починить... Перестань только отчаиваться. Стоит только приклеить ему спину и приколотить добрым гвоздем голову к затылку, и он сделается как новый и может еще надеть на нас довольно неприятностей.

— Ты думаешь? — спросила она.

И после этого они взлезли на столик, на котором стояли прежде.

— Видишь, как мы далеко ходили: — сказал трубочист. — А ведь трудились совершенно напрасну!

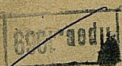
— Лишь бы только удалось починить дедушку. А это очень дорого стоит.

И дедушку починили. Хозяева дома приклеили ему спину, приколотили голову и он сделался как новый, только не мог уже кивать головою.

— Как, однако, вы сделались горды с тех пор, как разбились в куски! — сказал ему козлоног. — Мне кажется, у вас нет причины так поступать со мной. Скажите же, наконец, решительно: выдадите вы ее за меня замуж или не выдадите?

И он ждал ответа; а в это время трубочист и па-  
стушка смотрели на старого китайца чуть не со слезами: они все боялись, что вдруг он кивнет головой. Но он уже не мог кивать, и не хотелось ему рассказывать чужому человеку, что у него в затылке заколочен гвоздь. И таким-то образом наши фарфоровые люди стали жить да поживать вместе, и благословляли они гвоздь в затылке дедушки, и любили друг друга до тех пор, пока не разбились.





18345





